

В тринадцатом году,
еще не понимая,
Что будет с нами,
что нас ждет...

Г. ИВАНОВ.

В «Письме о русской поэзии» (1922) Осип Мандельштам прямо назвал «самый интересный в поэзии процесс, рост поэтической личности». Если вслед за Пушкиным судить поэта по тем законам, которые сам он над собой признает, то, очевидно, именно личность Мандельштама (ее масштаб, ее цели и задачи, ее участь) должна привлечь первоочередное внимание. Тем более, что кратчайшие сведения о жизни этого поэта довольно, чтобы убедиться: тут нас не подведут, не обманут.

Речь не о биографии как таковой, не о выхоленном «быте». Мандельштам говорил о поэтической личности, то есть о жизни, как она выражена по преимуществу в самом творчестве, которое ведь для поэта и есть настоящая жизнь, духовный ориентир всей его биографии.

Так вот, 18 марта 1937 года Мандельштам написал:

Рядом с готикой жаж
озоруючи
И плевал на пачку права
Наглый школьник и
ангел вооруженный,
Несравненный Виллон
Франсуа.

В Москве только что завершил работу февральско-мартовский пленум ЦК ВКП(б), принявший тезис об обострении классовой борьбы по мере углубления позиций социализма. В Париже в те же дни вышла в свет проза бывшего мандельштамовского друга Георгия Иванова: смесь лиризма и грязи, соблазнительной эротике и почти отталкивающей чистоте — акция отчаяния. Самому Мандельштаму отмерено было жизни — на вершок, на игольное только ушко.

В эти «минуты роковые» — родины, поколения, личной судьбы: случайно ли это игрище поминания Вийона?

Почти за четверть века до того, в тринадцатом году, двадцатидухлетний Мандельштам — тоже эдаким наглым школьником — заявил: «Ведь поэзия есть сознание своей правоты» («О собеседнике»). Мысль эта не случайная, не проходная: она обставлена частотой повторов, даже запугиваний и проклятий. «Горе тому, кто утратил это сознание!», «Непростительна, извиняться!», «Непростительно! Недопустимо для поэта! Единственное, чего нельзя простить».

И тут же, через страницу, для примера поминается тот же Вийон. Стоит поставить вопрос: не стоит ли же так поминать Вийона, сколько что из этой связи значил Вийон для Мандельштама, как воспринимал Вийона Мандельштам, чего ради вспоминал о нем?

И выясняется: «Франсуа Виллон стоит гораздо ниже среднего нравственного и умственного уровня культуры XV века! Это в подтверждение тезиса о поэзии как сознании правоты...»
Тремя годами раньше в статье «Франсуа Виллон» Мандельштам не упускает заметить о своем герое: «Весьма безнравственный, «эгоистичный», «сообщающий о «профессии сутенера, которой он, очевидно, не был чужд». Выходит, что поэзия есть сознание правоты, но правота эта не имеет отношения к нравственности, уживаясь, с точки зрения морали, Бог знает с чем. Правота эта не нравственная, но какого-то другого порядка. Именно не имеет отношения: если бы правота была принципиально безнравственной, то хотелось отрицательно соотноситься бы друг с другом, сосуществовать на одном «эгоистичном» уровне, не редкая точка зрения. Так — осуждая — на поэзию глядели философы, начиная с Платона. Так с упоением — сами на себя глядели романтики и декаденты. Но ведь у декадентов речи нет о «правоте»: и это логично.

В стихотворении Блока «Поэты» («За городом вырос пустынный квартал...») прав, бесспорно, «микий» «читатель», а его «обывательской луже». Другое дело, что Блок презирает эту правоту. У Блока поэт возвышается над толпой за счет чистой творческой способности, понимаемой в отвлеченно-романтическом смысле. Не то у Мандельштама.

В Блока — оправдание неправоты. Оправдывается он тем, что есть у поэта и косы, и тучки, и век золотой. Но ведь тогда и есть, по Мандельштаму, «единственное, чего нельзя простить». Романтик оправдывает неправоту поэта. Мандельштам утверждает правоту поэта. Утверждает как будто без всяких оснований или вопреки основаниям.

Итак, утверждению Мандельштама, что «поэзия — это уровень» своей эпохи. До

вольно знать совсем немного о Мандельштаме, чтобы не сомневаться: сам он стоял «гораздо выше» (и уж подавно ни уловником, ни сутенером не был). Весть о его гражданском и человеческом подвиге как раз и привлекает первоначальное внимание к Мандельштаму. Мир о нем как бы предвещает его стихам. Так что и Вийон ему понадобился никак не для самооправдания, но — что бы парадоксально подчеркнуть полемическую крайность суждения. Поэт может быть ниже современников (нашим Мандельштам изображает Вийона), может быть выше (нашим предшественником нам Мандельштам). Источники поэзии, источник правоты поэта — в другом измерении.

Почему? Для Мандельштама это связано с адресом лирики как жанра. Он противопоставляет «литератора» (в российской традиции можно понимать шире: общественного деятеля) — поэту. «Литератор обязан быть «выше», «превосходнее» общества. Поучение — нерв литературы. Поэтому для литератора

нужно пьедестал. Другое дело поэзия. Поэт связан только с providentialным собеседником. Быть выше своей эпохи, лучше своего общества для него не обязательно».

Это, в свою очередь, мотивировано у Мандельштама очень конкретно. Мыслил он по-пушкински непредавать; не-та-пушкинские подпорки чужды его построениям. Основания его мысли — в природе самой лирики, едва ли не в технических ее особенностях. «Нет лирики без диалога. А единственное, что толкает нас в объятия собеседника, — это желание удивиться своим собственным словам, плениться их новизной и неожиданностью... Расстояние различий стирает черты милого человека. Только тогда у меня возникает желание сказать ему то важное, что я не мог сказать, когда владел его обложкой во всей реальной полноте».

Слово поэта не обращено в романтическое никуда. Вместе с тем он обращается не к современнику — тем более не пререкается с современником (как «провиденциальное» собеседнику). Естественно цитируется им Бортнянский: «И как наша я друга в поколении, читателя найду в потомстве я». Не модное самоупоение, не жалоба на непризнание, но родовое, если не техническое свойство лирической поэзии.

Мандельштама еще обвинят в общественном отщепенстве — и даже убьют за это. Потом оправдают, осмелившись разглядеть в отщепенстве подвиг. А он, как видно, и не нуждался в таком суде. «Сознание правоты, двигавшее его поэзией, не зависело от такого суда.

Это — на всю жизнь. Даже в стилизациях, культурных реминисценциях, которыми так богаты стихи раннего «Каменя», ему особенно дороги интонации достоинства, твердости, непреклонности. «Здесь я стою, я не могу иначе», — цитирует он Лютера в том же 1913 году. Через год: «Прав народ, вручивший посох мне, увидевшему Рим». Тогда же вдохновенно формулируется таинственная творческая преемственность:

И не одно сокровище,
быть может,
Минуя внуков,
к правникам уйдет,
И снова скажд чужую
песню сложит
И как свою ее произнесет.
А дальше начинается разглаголь-

ваться что-то страшное под названием «судьба поэта». Все в том же любимом нашей статистикой 1913 году Мандельштам написал: «И, если подлинно поэт и полный гроду, наконец, все исчезает — остается пространство, звезды и певец». И вдруг вот все кругом исчезает — не метафорически, не метафизически: буквально стал рушиться мир.

Мандельштам почувствовал это прежде всего на уровне слова. Поражает его пророчество насчет будущего, можно сказать, фразеологического ада.

1921. «Все другие различия и противоположности бледнеют перед разделением ныне людей на друзей и врагов слова. Подлинно аггнцы и козлища. Я чувствую почти физический нечистый козлиный дух, идущий от врагов слова».

1922. «Для России отпадением от истории, отлучением от царства исторической необходимости, от свободы и целесообразности было бы отпадение от

языка. «Онемение» двух, трех поколений могло бы привести Россию к исторической смерти».

«А стихи были еще прозрачнее, чем поэзия. В них засквозило уные не предчувствие смерти слова, но дыхание физической смерти. «Нельзя дышать», и тогда кишит червь!» (1921). «Я все отдаю за жизнь, мне так нужна забота, и спичка серая меня б согреет мола!» (1922). В начале 20-х Мандельштам еще с невозможным величием проповедует «сострадание и культуру, отрицающую слово», — «Враги слова» с их нечистым козлиным духом озабочены не столь величественным, как концы 20-х вокруг поэта создается беззастенчивое пространство. Но все с той же непреклонностью звучит его основная интонация:

Нет, никогда ничей я не был современник... (1924)

Пора вам знать, я тоже современник... (1931).

То есть, очевидно, в 24-м «им» было еще не пора. Поэт решает, когда «им» пора что-то не узнать, а когда еще нет. Дерзость этих оценок несравнима.

О Мандельштаме едва ли не с насмешкой вспоминали: как высоко он задира голову при ходьбе. Гляделось, должно быть, вправду забавно. В стихах, однако, та же черта серьезна, мужественна. Черта все того же «сознания правоты». В конце концов прямое дело поэта как раз писать стихи, а не отравлять походы...

И вот через оцененное молчание, потом через задыхающиеся нервные обличения «Четвертой прозы» поэт обретает второе дыхание в стихах 1930—1931 годов. Это его вызов, волеющий поэта в решающий поединок с «врагами слова». Стихи эти полны воздуха, изысканно просты. Превеличие — выгода тем, кому невыгодны, для кого убийственны стихи 1930—1931 годов.

И меня только равный убьет, — бросил тогда поэт. И они, возмнив себя «кравными», сделали все, чтоб убить его. К штыку привалили перо.

В многомиллионном мартирологе тех лет жертва Мандельштама выделяется — если не наступательностью, то открытостью, упрямством сопротивления. Сколько обреченных отчаянно мечтали не попасть в запертую на полный ход смертоносную машину. Мандельштам же как будто сам сунул голову в ее зубчатые колеса. Когда он прочитал вслух стихи о Сталине — даже близкий по духу собрат-поэт отшатнулся, не посмел признать эти стихи стихами...

«Ведь поэзия есть сознание своей правоты», — сказал юный

поэт. Тогда — в начале века — плодилось и множилось декларация самые широковещательные, лозунги самые крикливые. Одни лишь символисты — сколько наплодили лжерочечества и дутых откровений, внося свой вклад в будущее тотальное обесценивание слова, вышедшее далеко за границы эстетики! Цена слова падала катастрофически — кто сравнится бы в ту эпоху с Мандельштамом в ответственности, в оплеченности резкой юношеской фразы?

И вот вопрос: откуда одинокий, непопулярный поэт черпал силы для своего сопротивления? В чисто гражданском чувстве, в идеологии — ответа не найти. Дай Бог всякому, разумеется, столько гражданственности. Идею Мандельштам был демократом в разном, интеллигентском понимании слова. Его резко оттолкнули антидемократические

руи) в прозе и поэзии стали публикации прозы и поэзии О. Мандельштама, Б. Пастернака, В. Набокова, А. Платонова, М. Булгакова, А. Ахматовой, то есть художников, для которых контакт с миром свершался в известном смысле через книгу. — Выстраивается ряд, который сам есть поэзия «фантасмагория». Что общего у названных авторов? Да то лишь, что ни один из них не захотел или не смог принадлежать той разрешенной литературе, о которой Мандельштам коротко и ясно высказался: «мразь». «Контакт с миром через книгу» (у Платонова!) — за этим впечатлением названного критика стоит лишь элементарная общая культура названных авторов, их связь с литературными традициями России. Сходство либо чисто отрицательное, либо слишком общее.

Между тем «влияние Мандельштама» сплошь и рядом видят как раз в наличии общей культуры, либо — того проще — в некоторой неэвизимости общественной мысли. Причем в том и в другом находят нечто необычное. Полно, необычным было как раз отсутствие этих свойств поэтических публикациях на протяжении десятилетий. Восстанов-

мотивирован и глухой ас-социативный строй многих стихотворений, и высочайшая в русской поэзии смысловая насыщенность слов. То и дело спорил эпитет (часто еще и дикий) проливается теснящаяся в нем метафора: «И падают стрелы сухим деревянным дождем...»

То есть «сложность» Мандельштама — следствие не книжности (как удобно думать и книжным поэтам, и непримиримым их противникам — любителям поэзии незатейливой, как грабли), но, напротив, напряженнейших отношений с жизнью. Что — стоит ли уточнять? — не лишает других поэтов права по-другому строить отношения к жизни в слове: вспомнить, например, прозрачность Ходасевича или Есенина...

Сознание правоты — как постоянный побудительный импульс творчества — могло совпадать, а могло не совпадать с житейской или идейной уверенностью в себе. Когда совпадало — рождался головокружительный озор в стихах 1930—1931 годов. Когда не совпадало — рождалась трагедия «Воронешских тетрадей» с их равным ритмом и надорванным голосом. Так поэт жил.

...В статье «Пушкин и Скрябин» (1915 или 1916), написанной, вероятно, не без влияния идей О. П. Флоренского, Мандельштам утверждал, что смерть художника — «последнее, заключительное звено», «высший акт его творчества». И эти слова тоже оказались вовсе не красивой метафорой, они тоже сбывались и страшно оплачены. Собственной участью, гибелью Мандельштам привнес в эту вечную истину страшную особенность своего времени, своего поколения. Привкус гибели коллективной, безымянной. Тоталитарного насилия.

Георгий Иванов назвал свою прозу 1937 года «Распад атома». В «Стихах о Неизвестном Солдате» — вершином, итогом произведений Мандельштама — описан «свет разломов в луче скоростей». Время подсыхало свои образы.

Наливаются кровью аорты, И ползет по рядам шепотком:

— Я рожден в девяносто четвертом.
— Я рожден в девяносто втором...
И в кулак зажимая истертый Год рожденья с гурьбой и гуртом,
Я шепчу обескровленным ртом:
Я рожден в ночь с второго на третье Января в девяносто одном Неведомом году — и столетья.

Судьба долма; но не слома-ла поэта. Если бы насилие и травля не задавали его, не вводили с ума, он не был бы человеком. Если бы он сломался и бесповоротно явился с повинной в «Кремль» или в «колхоз», он не был бы Мандельштамом, он был бы, «как все». Он не был, «как все».

И, возвращаясь к отравной точке этих размышлений: случайно ли поминание Вийона в стихах той же весны 1937 года?

Кьеркегор говорил, что величие проявляется не в час всеобщего признания, но гораздо прежде, когда лишь сам человек откуда-то знает о своем предназначении: в глазах же людей он безумец или преступник. Когда под зов петербургских пиров тринадцатого года Мандельштам говорил о сознании своей правоты: откуда было ему черпать веру в себя, кто его слышал, на кого он мог опереться — кроме открытого им «предка» из XV столетия? Разве что еще — неясный «провиденциальный» собеседник в неясном будущем.

Жизнь поэта сложилась так, что и перед неизбежной гибелью общее признание лишь, казалось, еще безнадежней отодвинулось от него, чем когда-либо прежде.

И «последним заключительным звеном», «высшим актом его творчества» предстает как бы двойной финал. Обе темы его апокалиптичны. Мощное урочное звучание «Стихов о Неизвестном Солдате» — и огромный лирический подголосок, прощание со средневековым собеседником. Он не прекращавшаяся десятилетиями беседа поддерживала сознание правоты поэта. Залог того, что

И пред самой кончиною мира Будут жаворонки звенеть.

Александр Сопровский.

Обращение к творчеству Мандельштама было закономерно для авторы этой статьи — поэта, эссеиста Александра Сопровского. Около двадцати лет назад он основал группу «Московское время», в которую вошли С. Гандлевский, А. Цветков, Б. Кенжеев, В. Дмитриев, Т. Полетаев, В. Сергиенко, П. Нерлер и другие, ныне становящиеся известными российскому читателю поэты. В 70—80-е годы стихи и статьи Александра Сопровского печатались в «Континенте» и других эмигрантских изданиях. 23 декабря 1990-го он погиб в автомобильной катастрофе.

Осип Мандельштам. Рисунок В. Милашевского, 1932 г.

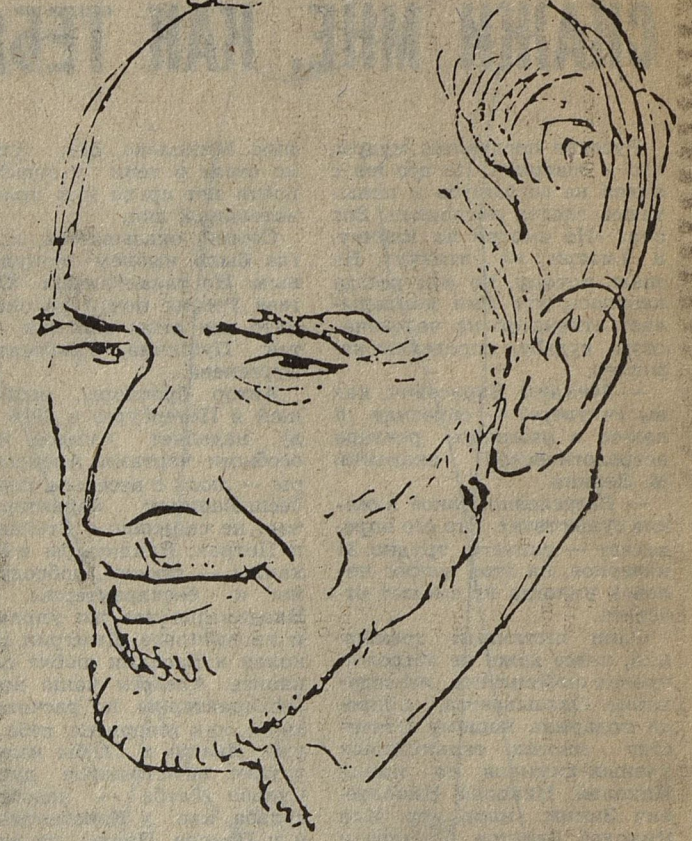
Воронеж, Ул. Ф. Энгельса, д. 13.

Братскую могилу, в которой, предположительно, захоронены останки О. Э. Мандельштама, отыскал приморский краевед Валерий Марков. Она находится во Владивостоке, возле территории одного из учебных экипажей Тихоокеанского флота. В свое время здесь был пересильный лагерь заключенных. Осип Эмилевич Мандельштам скончался в лагерьном лазарете 27 декабря 1938 года.

19 января 1991-го горсть земли с места братской могилы будет перенесена на мо-

сковское Кунцевское кладбище, где похоронена Н. Я. Мандельштам и установлен памятник в честь О. Э. Мандельштама.

Москва, Тверской бульвар, 25. Здесь, в одном из флигелей знаменитого «дома Герцена», Мандельштам жил в 1922—1923 гг. В день столетнего юбилея поэта на Тверском снова звучат его стихи. На здании, которое ныне занимает Литературный институт, установлена мемориальная доска.



Пусти меня, отдай меня, Воронеж:
Уронишь ты меня или проворонишь,
Ты выронишь меня или вернешь
Воронеж — блажь,
Воронеж — ворон, нож...

Не по своей воле, не в поисках новых впечатлений приехал Осип Эмилевич в Воронеж летом 1934-го. Однако и здесь, в ссылке, будучи оторванным от привычного окружения, он всегда оставался поэтом. В историю мировой культуры этот русский город навсегда вошел и «Воронешские тетради» Мандельштама.

Сегодняшний Воронеж, переживший разрушения

1942—1943 годов и отстроенный практически заново, мало напоминает Воронеж «мандельштамовский». Но сохранились улицы, здания, скверы, которые старожилы — любители поэзии непременно покажут вам. В доме № 13 по улице Фридриха Энгельса находилась одна из пяти квартир, которые снимали Мандельштамы во время воронешской ссылки. Теперь об этом будет напоминать мемориальная доска.

В издательстве Воронежского университета вышла первая в нашей стране книга, специально посвященная жизни и творчеству О. Э. Мандельштама. В сборнике публикуются прежде неизвестные воспоминания о поэте, а также стихотворения 1930—1937 гг. с комментариями Н. Я. Мандельштам. В разделе «Исследования» анализируются различные аспекты творчества О. Э. Мандельштама. Мы публикуем два фрагмента из этой книги, дающих представление об отношении Осипа Эмилевича к творчеству, к поэзии.

<...> Промежуток между стихами почти год. Мандельштам никогда не писал стихов сплосью и подряд, а только приступами. Он очень удивился, когда узнал, что Пастернак по утрам сидит в комнате и «пишет». У О. М. и А. А. (Ахматовой. — Ред.) этот процесс протекал иначе. Периоды «накопления» между «приступами», вероятно, не менее важны, чем сами приступы. В периоды накопления О. М. жил — он читал, ставился почитать по стране, разговаривал, шумел. В этот период он каплялся в «бродячие строчки», которые он никогда не записывал и обычно про них не говорил. Стихи приходили внезапно. Ане Андреев не он говорил, что для прихода стихов нужно событие — все равно, хорошее или плохое. Не знаю, так ли это. Вероятно, такое событие необходимо при переходе из одного этапа в другой, а годичный перерыв вовсе не означает смены этапа. О. М. сам шутя говорил, что пишет стихи, когда ему нечего делать. Стихи были его жизнью, но жизнь была шире стихов. Только в самые последние годы он раз сказал мне: «оставь в покое стихи — у меня есть только стихи». Это когда мы жили в Савелове; все тогда шло к гибели — последний страшный год нашей жизни. Стихи не успели вернуться, а он их еще жал и просил меня о чем-то, что он считал связанным со стихами. А раз он мне сказал, стихи до старости, но тогда они в чем-то изменятся: ведь стихи это тоже «возрасты человека». И я помню, как в ужасе подумала — будет ли у нас старость. Ведь все рушилось и гибло. Как люди живут в такие эпохи? На это никто не сможет ответить. Те кто выжил, помнят только перерывы между приступами ужаса, а сам-то ужас не запоминается. Это какое-то мучительное напряжение съезжающегося, застылого, полубезумного человека. Сопровождаемость утвержда, да ее и не может быть. Есть только скованность, она и заменяет силу: все силы уходят на то, чтобы не закричать и не упасть. Похоже, как будто в доме кто-то умирает, но это не совсем то. В смерти есть какое-то торжество, а в том только позор: по нашей собственной воле умирает огромный организм — страна, земля, все... Как это понять? Кто это поймет? <...>

Осип Эмилевич не сразу нашелся, что ответить, и, подумав, сказал: «Вот вопрос, который может убить что угодно». Раздались аплодисменты, а вопрошавший обиделся.

После перерыва Мандельштам читал стихи: «Там, где купальни...», «Ламарк», «Полночь в Москве. Роскошно будущее лето...», «Сегодня можно снять декламацию...»; три стихотворения из цикла «Армения»: «Я тебя никогда не увижу...», «Лазурь да глины...» и «Какая роскошь в нищенском селенье...», «Сохрани мою речь навсегда...», «Куда как страшно нам с тобой...», «Мы с тобой на кухне не посидим...», «Рояль», «Два стихотворения из старых: «Бах», «Чуть мерцает призрачная сцена...»; стихи о русской поэзии: «Сядь. Державин, развалился...», «К немецкой речи».

В конце чтения один художник крикнул: «Что-нибудь об индустриализации!», на что Мандельштам ответил: «Это все на тему об индустриализации. О техническом переоборудовании психики отступающих товарищей». Ответ Мандельштама вызвал громкие аплодисменты. Читал он обычно довольно спокойно, нарасспев, вскинув голову, немного жестикулируя рукой в такт ритму. Кончая стихотворение, начинал ворочать кучу рукописей на столе, будто выбирая новое, но каждый раз, ничего не найдя, читал следующее стихотворение наизусть. Закончив чтение, собрал бумаги в кучу, в охапку, и, не кланяясь, не глядя на публику, бежал с эстрады и на аплодисменты не появлялся <...>

[Из воспоминаний поэта, литературоведа, фотографа Л. В. Горнунга].

[Н. Я. Мандельштам. Комментарий к стихам 1930—1937 гг.]

<...> 3 апреля 1933 г. В этот день Мандельштам читал стихи у художников. У меня был пригласительный билет, и я отправился туда. Вечер состоялся в клубе художников с дикионным названием Мособласткомрабис, который находился в Ветошном переулке, в доме № 2, поэды ГУМа. Председательствовал художник Александр Тышлер. К моему удивлению, Осип

